СТЕПАН
ЩИПАЧЕВ

ПОЭМЫ



СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

ПОЭМЫ

Издательство
«Советская Россия»
Москва — 1979

Р2
Щ84

Щипачев С. П.

Щ84 Поэмы. М., «Сов. Россия», 1979.

144 с.

В книгу вошли избранные поэмы известного советского поэта.

Р2

Щ $\frac{70402-195}{М-105(03)79}$ инф. 79 4702010200

ДОМИК
В ШУШЕНСКОМ





1

Опять погода завернула круто.
Над Шушенским ни месяца, ни звезд.
Из края в край метелями продута,
лежит Сибирь на много тысяч верст.

Еще не в светлых комнатах Истпарта,
где даты в памяти перебирай,
а только обозначенным на картах
найдешь далекий Минусинский край.

Еще пройдут десятилетья горя
до мокрого рассвета в октябре,
и пушки те, что будут на «Авроре»,
железною рудой лежат в горе.

Горит свеча, чуть-чуть колеблет тени.
Село до ставней вьюги замели.

Но здесь, где трудится, где мыслит Ленин,
здесь, в Шушенском, проходит ось Земли.

Уж за полночь, окно бело от снега,
а он все пишет, строчки торопя.
Сквозь вьюги девятнадцатого века,
двадцатый век, он разглядел тебя.

Он знает, видит, в чем России сила
и чем грядущее озарено.
Пускай еще не высохли чернила,
словам уже бессмертие дано.

Невзрачный домик затерялся в мире.
Но на стекло морозный лег узор,
и тут вся география Сибири —
от океана до Уральских гор.

Вот серебро равнин ее широких,
вот, в иглах весь, тайгу засыпал снег,
и различимы горные отроги
и, как рога оленьи, русла рек.

И на столе белеют не страницы,
а тот же русский снеговой простор,
где все губернии... Где он в таблицах
учел и тот однолошадный двор —

с косым плетнем, засыпанным метелью,
где позапрошлую неделю
осталась без отца семья,
где в эту ночь родился я.

Мать — хоть от горя ослабела —
гадает о моей судьбе.



Промерзла дверь, заиндевела,
и ходит ветер по избе.

В сенях, где страх теперь таится,
то скрипнет вдруг, то звякнет тишина,
где вынута пешнею половица,
земля замерзшая видна.

На эту половицу прадед
ступал наряженный к венцу,
а в черный день она в ограде
постругана на гроб отцу.

Но всё — и горе — он учел в таблицах.
Потрескивает на столе свеча.
Пусть ночь темна и непогода длится,
он всю Россию видит в этот час.

Крутые переулочки Казани,
библиотеки старые Москвы
и Питер, Питер вновь перед глазами —
в граните серая вода Невы.

Звонки условные — и он в квартире.
Висят часы на выцветшей стене,
и ржавой цепью тянут время гири,
секунды отбивая в тишине.

Глухи за Невскою заставой ночи.
Со следу сбив назойливых шпиков,
он снова на кружке рабочих
глядит в глаза учеников.

Пойдут на смерть — не предадут такие.
На сердце горячо от этих глаз;

в них светится мечта твоя, Россия,
в них молодость твоя, рабочий класс.

2

Какое утро! Белизна какая!
И, этой белизне под стать,
хребты Саянские сверкают;
сегодня их и в Шушенском видать.

Снег на катке волнистый и горбатый.
В глазах рябит от белых снежных гряд.
И, пронеся хоругвями лопаты,
ребята рядом с Лениным стоят.

Одним морозным воздухом с ним дышат,
свои следы в его вплетают след,
хоть, может, имя Ленина услышат
они впервые через много лет.

Кто ж из мальчишек первым быть не хочет,
когда, заиндевелый до бровей,
он с ними сам, как маленький, хохочет,—
и снег с лопат летит еще живей.

Необозримая лежит Россия,
до края и ветра́ не долетят.
Будь это шушенские, костромские —
жизнь одинаковая у ребят.

Во всех краях она, еще слепая,
уводит от отцовского крыльца.
Десятилетний паренек Чапаев —
на побегушках в чайной у купца.

В Уржуме легкая летит пороша,
видны леса, куда ни погляди.
Приютский мальчик Костриков Сережа,
что может знать он о своем пути?

Еще в зарницах первых дни глухие.
Буденновские конники лихие,
чапаевцы — еще в пеленках спят.
Их как травинок в поле,— на Руси ребят.

Где в чащах заячьи петляют тропы,
где солнце в космах снеговых встает,
в избе, уткнувшейся в уральские сугробы,
на свете мальчик первый день живет.

Мать рядом спит.
Ей сон тревожный снится,
ей не дойти до светлой правды той,
что и в глухую эту ночь родиться
не страшно даже сиротой.

Под окнами черствеет снег вчерашний,
святые скорбно смотрят из угла.
За сына было б матери не страшно,
когда бы знать про Ленина могла.

3

Все те же
в той, где он бывал, квартире
висят часы...
Позеленели гири.

От времени не отставая,
на циферблате, заспанном на вид,

идет по кругу стрелка часовая,
и по орбите шар земной летит.

Исхоженные дальние дороги
ведут от детства, от плетней косых.
Годины войн и революций сроки
секундами измерили часы.

И на холодном быстром Енисее,
в еще не очень обжитом краю,
благоговейно в домике-музее
я у стола рабочего стою.
Тут Ленин жил, за этот стол садился.
Еще я только что на свет родился,
а он уже решал судьбу мою.

Поймешь и ты, праправнук, без труда,
задумавшись над ленинской строкой,
что и твоя судьба — еще тогда —
была намечена его рукой.

Прошло вихрастое, босое детство,
и после, в день великий Октября,
не двор — страну я получил в наследство:
поля и реки, горы и моря.
Я честь и славу своего народа,
как сын, под красным знаменем принял.

Пилотку, полинявшую в походах,
я с головы еще за дверью снял.
На половицы бережно ступая,
по домику я тихо прохожу.
Стоит в нем тишина святая;
я ею, как бессмертием, дышу.

**Но эта тишина не для молитвы,
а для присяги. В этой тишине
еще слышнее грохот битвы
и поступь времени еще слышней.**

1944



НАСЛЕДНИК





(1905)

1

Пора!
Я слышу гуденье дороги.
Не знаю, будет легка ли она?
Ложатся в поэму первые строки,
первые шпалы ее полотна.

Мне
еле маячит
за далью мглистой
конечная станция.
Надо спешить!
Пусть ветер времени перелистывает
страницы моей души.

Пишу, и тревоги мои об этом.
Но пусть набегают сомненья порой,
до строчки последней

мне быть поэтом
велит поэмы моей герой.

Вот он — стоит у березы.
Ветер.
На травах колеблются тени от веток.
Под ветром листва молодая шумит.
Послышалась песня протяжная где-то,
и ею заслушался Коля Шмит,
встречая свое двадцать первое лето.

Год тысяча девятьсот четвертый.
Надвинулся век на его горой...
В тужурке студенческой, чуть потертой,
стоит поэмы моей герой.

2

Обычной жизнью жила окраина.
Зимой до рассвета будила гудком.
Навозом и сеном пахло у чайных,
у фабрик — горьковатым дымком.
Булыжник. Сараи. Иные заборы
скрывали домишек приземистый рост.
Как видно, давно отпихнул город
рабочую Пресню за Горбатый мост.
Но там же,
над гнилью домишек тесных,
под звездами ночи, под куполом дня,
зеркальными окнами глядел на Пресню
каменный шмитовский особняк.

Бывало, метелью сменялся мороз,
но люстры сияли в натопленном зале,

и в мраморе
их отраженья казались
туманностями далекнх звезд.

Шли в гору дела.
Меж бухгалтерскнх строчек
росла, громоздясь, прибылей строка,
в которой даже чахотка рабочнх
звенела золотом иаверняка.

Шли в гору дела.
Но смерть без спроса,
ие скрипнув и дверью,
вошла в особняк.
Хотя для иее,
безиосой,
доступией бывает бедняк.

Права оиа нли ие права,
явилась и к старому Шмиту.
Печальиа,
молнлась о ием вдова
в пропахшей свечами спальие.

3

Разъехались родствеиинкн давио,
давно погашены люстры.
И вьюгою лютой
уж полиочь ломнлась в окио.

Застегивая шииель иа ходу,
Шмит вышел из дому.
Забыв о постели,

он долго стоял на Горбатом мосту
в обнимку с метелью.
Она лицо остужала ему,
со свистом с моста уносилась во тьму.

Не очень приметен Горбатый мост,
но все же с него чуть поближе до звезд.

В тот день Николай — капитала наследник
стал совершеннолетним.
«Наследник... Да, да, я наследник...
Парижской коммуны, рабочей Пресни».

4

События близились неотвратимо,
и царь не искупит своей вины;
нахлынуло страшное слово «Цусима»
всей прозеленью морской глубины,
всей прозеленью и синью.
И видели люди одно:
идут на дно
корабли России,
матросы идут на дно.
«На дно и Россия пойдет,
если
не сгниет под пулями царский род,
если
на силу силой не встанет народ!»

Еще не все понимали сами,
что мало одних митинговых слов,
и Ленин не разгибался часами
над «Тактикой баррикадных боев».

Россия бурлила.
Листовок стан.
Собрания... Митинги... Стачки...
Грозна
история, дни листая,
бессмертием метила имена.

Где воздух уральский смолисто-крепок,
вновь было черно от рабочих кепок.
Ловили каждое слово
Свердлова.
Подавшись вперед, в стремительной позе,
стоял он на выветренной скале —
на глыбе седой...
На такую и в бронзе
он встанет потом на уральской земле.

Ломая рядов полицейских шлагбаумы,
потоком людским раздвигая дома,
шла в скорби за гробом Баумана
не революция ли сама?
Даже и смерть его
агитировала,
будила Россию.
Не зря
рабочие Шмита в подвальном тире
стреляли в портрет царя.
А красный гроб на плечах народа
все плыл и плыл... удаляясь в века,
и где-то трусливо жалась к воротам
сутулая тень шпика.
Такое сдержи попробуй.
Колоннам рабочих
потерян счет.

Шмит слез не стыдился
и красному гробу,
кого-то сменив, подставлял плечо.

5

Кареты.
Рысаки.
Удила в пене.
Ковровые дорожки
льются по ступеням.
По лаку,
по мрамору,
по бронзе
скользят лучи.
Съехались
мебельные фабриканты,
богачи.
Сигарами пахнет.
Тычут в пепельницы и простые окурки.
Стоит Николай
чуть поодаль
в студенческой тужурке.
Кто-то слушает внимательно,
кого-то от сытости клонит в сон.
Теряя спокойствие,
но сидя еще,
говорит фабрикант Андерсон.
— Восьмичасовой рабочий день!
Да ведь за ним — Пугачева тень!..—
Он голос поднял
почти до крика
и пальцем с бриллиантом
в Николая тыкал.

— А я считаю — правы рабочие.
Страху на себя не нагоняйте очень.
Поверьте,
в этом есть и для промышленников интерес...—
Николая не дослушали,
повскакали с мест.
— Мальчишка! Вздумал учить!
— Я все сказал, господа.
Жалею, что приехал сюда.—
Он к двери пошел.
На крики
не скосил и гла́за.
Он уходил
от своего класса.

Фабрика Шмита
недаром
была на примете
у жандармов.
Папка
с печатными буквами «ДЕЛО»
от сведений агентурных
толстела.
За строчками строчки.
Закорючки и завитки.
Но их выводили не только шпики,
не только филеры московской охранки:
такие же закорючки и завитки
нашли бы у многих фабрикантов на бланке.

Папка
с печатными буквами «ДЕЛО»
от доносов толстела.

6

Морозным, железным пришел декабрь.
Рабочая Пресня в кольце баррикад.

Неубранный снег месили подковы.
Глядела в глаза неизвестность.
Орудия жерлами шестидюймовыми
поворачивались на Пресню.

Вставала сила на силу.
Горели костры, растопляя снега.
Топтались солдаты —
верзилы
Семеновского полка.

А там
рубили столбы, тащили мебель,
валили конки,
чтоб не пропустить врага,—
и над баррикадами в небе
плыли снежные облака.
Рабочая Пресня
готовилась к бою.
На шмитовской фабрике
в цехе обойном
три девушки
низко склонились,
спешили
по красному бархату
золотом шили.
Иголками
букву за буквой
с утра:

«Пролетарии всех стран...»
Одна — иголкою до крови палец.
Две капельки крови
на бархат упали.
Две капельки крови.
Нахмурила девушка бровь.
Это на знамени
первая кровь.
Рабочее знамя.
По бархату буквы в строку.
Ему с баррикады
грозить врагу,
пробитому пулями в славном году,
в музее стоять
у веков на виду.

7

Мне кажется это
недавним и давним...
Уральские вьюги стучали в ставни,
и звездное небо, порою казалось,
к ночному окну примерзало.
Гремела мать чугунами,
тужила над маленькими над нами —
над четверыми сиро́тами...
Сугробы горбатились за воро́тами.
И всей мешаниною звезд и снега
наваливалось начало века.
Достав из посконных штанов кисет,
на лавке у двери сидел сосед.
Звучало чужим для ушей и для стен
недеревенское слово «студент».
Сосед приехал из Камышлова

и вместе с листовкой привез это слово.
В избе натоплено было жарко.
Сосед из листовки скрутил цигарку,
курил и за что-то ругал царя.
В начавшейся вьюге мутнела заря.
Да вьюга и не стихала, пожалуй,
по всей России поземкой бежала,
мела по полям, по замерзшим рекам...
Что знал я тогда, одногодок с веком!

Не той ли ночью, не той ли ночью
измученного, избитого
втолкнули в камеру одиночную
студента Николая Шмита.

8

Четырежды ставили на расстрел.
Четырежды в дула винтовок смотрел.
И в пятый раз —
офицерская шашка у самых глаз.
Хохочет фельдфебель меднорожий:
— Кому завещаешь пальто и калоши?—
Тупые, пьяные голоса:
— На штыках его побросать!
— Пить, — с губ сорвалось.
— А этого хочешь?—
У глаз пудовый кулак.
Солдаты хохочут.
Все плыло перед глазами в тумане,
а в мыслях: «Слепые, обманутые».

Допросы...
Угрозы...

Снова допросы...
Стоял он —
высоколобый,
светловолосый.
Упорно молчал.
Не выдал ннкого палачам.
Юный...
Ясноглазый...
Лншь ветер, лнствой шелестевшнй в лесах,
когда-то запутывался в его волосах,
а девнчьн пальцы не трогалн нх нн разу.

Катя...
Сестра...
Только с ней
делил он тревогн последннх дней.
И в пытках
вндел ее глаза,
такне же, как у иего,
только в слезах.

Четырежды ставилн иа расстрел.
Четырежды в дула вннтовок смотрел [1].

А Пресня пылала.
Пламя рвалось в облака.
Высóко, чтоб вндеть могли века.

---

[1] «Потом его зарезалн в тюрьме. Перед смертью он сумел передать иа волю, что завещает свое нмущество большевнкам». Н. К. Крупская.

9

Ои жизнь короткую прожил.
Богатство презрев, легкость жизии презрев,
и через квадраты тюремиой решетки
последней своей улыбался заре.
Склоняя в молчаиии лица,
суровую не скрывая печаль,
рабочие
сквозь частокол полиции
его в гробу
иесли иа плечах.

ЭПИЛОГ.

Два слова: Красиая Пресня,
два слова, а это — песия.

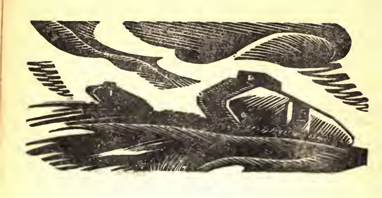
Читайте — названия улиц
подскажут, где в пятом свистели пули:
Дружиииниковская,
Большевистская,
Баррикадная.
Кровью рабочей
полита каждая.

Читатель, мой друг неизвестиый!
Пойдешь по Шмитовскому проезду —
считай его
в сверкании вечериих огней
продолжением поэмы моей.

Август — октябрь 1965

ЗВЕЗДОЧЕТ





1

Холодное
звезд сиянье
сочится в ночную тьму.
Очкастые марсиане
во сне приходили к нему,
к постели его садились
посланцами ночи звездной.
Не знали, видать, что будильник
помеха в беседе серьезной.
Не скажешь ему: «Извини,
дай фразу закончить», — звенит.
И Грише
уже не до сладких зевот:
поесть торопись,
торопись на завод.
Не в счет, что до поздней ночи
над книгой сутулился у ночника.

У примуса мать хлопочет.
Морозная прядка — из-под платка.

Огромное солнце утрами
на крыши выкатывается с трудом.
Оконная старая рама
по солнцу — черным крестом.

Больная,
но мать на судьбу не сетует,
и Грише легко от забот и ласки...
Заборы пахнут газетами,
сырыми от типографской краски.
Базарная площадь еще пустая.
Наваливаясь горячо,
газеты лишь солнце пока читает,
водя по строчкам лучом.

Спешит паренек.
Вот лабазы закрытые,
где затхлость мучная
да крысы.
Вот школа.
Второе окно от угла:
там
с партой знакомой —
тот самый класс,
где Гриша когда-то,
еще несмело,
не раз выходил к доске.
Легко и послушно кусочек мела
стучал и немножко крошился в руке.

2

Степной городок не прославлен делами.
Две церкви с комолыми куполами.
Завод мыловаренный.
Общежитие ЧОНа[1].
Трибуна на площади немощеной.
Могила с фанерною красной звездой,
где пахнет увядшею резедой.
...Мелькали кокарды белоказаков...
На братской могиле за год
звезда покоробилась, стала темней,
как будто кровь запеклась на ней.

Жара. Девятнадцатый год. Деникин
уже под Орлом наступает где-то,
а Гриша Суслонов читает книги
про звезды, про жизнь на других планетах.
И вслух про себя повторяет он
нерусское имя Фламмарион.

Бывает с девчонками ходят ребята;
о чем-то гармошка грустит в тишине,
Суслонов на крыше у голубятни —
со звездами наедине.
Пиджак подстелив, босиком
лежит — уж не вспомнит который раз,—
и звезды касаются холодком
его распахнутых глаз.

---

[1] Части особого назначения.

3

Однажды
ушибла коленку, но с Гришею влезла
к пустой голубятне на крышу Наташа —
поближе к звездному блеску.

Уже к середине приблизилось лето.
На травах настояна тишина...
Коса у Наташи медового цвета,
тяжелая, туго заплетена.
Ее не дала она ножницам грубым,
как все комсомолки в их городке.
Сияют глаза. Что-то сушит губы,
еще не целованные никем.

Уснул городок. Тишина. Только липа
у крыши листвой шелестит чуть-чуть,
да где-то — из окон доносится — скрипка
все плачет, кому-то припав к плечу.
А Млечный Путь, как степная река,
раскинулся звездною отмелью белой...
Осмелился Гриша: его рука
коснулась Наташиной... но оробела.

4

Все так же у Гриши
будильник звенит,
но время торопит
за днями дни.
Уже по ледку
заскользила осень.
Не верится Грише, но это факт:

три дня он в кармане носит
путевку желанную
на рабфак.

Но что же случилось такое?
Не знает Суслонов
ни сна,
ни покоя.
Взял книгу.
Страницу прочесть не мог.
К ребятам бы в клуб...
Но — висячий замок
вцепился железно
в надежные кольца.
Уходят
на фронт
комсомольцы.
Они еще дома.
Но завтра, в среду,
по узкоколейке
уедут.

...Ноябрьское утро.
На легком морозе
уже под парами
пыхтит паровозик...
Суслонов,
колючие льдинки дробя,
догнал
у вагона
ребят.

Ноябрьское утро
звенит и лучится.

От быстрой ходьбы
разрумянился он.
Рассудок доказывал —
надо учиться,
а совесть велела
ехать на фронт.

5

Упорны бои. Тяжело земле
под жаркой броней задыхаться от гари.
Но ломаной линией
Ленин в Кремле
флажки все южнее
втыкает на карте.
Привычно жилетку распялили руки.
Не карта — встает перед ним страна,
вся в стуже тифозной, в коросте разрухи,
но близкой победой озарена.

Не бредом, не сном — было явью и это:
запомнилось Грише — перед рассветом
тринадцатого октября,
когда еще медлила где-то заря,
уверенно, как на военных играх,
шли танки, бензином дыша на травы
(далекие предки «пантер» и «тигров»),
железные динозавры.
Такого
еще не видала пехота.
Попятились было
в ротах.

Рубцы оставляя
на жесткой траве...

Один забирал
все правей да правей.
Неведомое
на лапах железных,
огонь изрыгая, чудовище лезло
на взвод, где с Суслоновым двадцать бойцов.
Уж гарью, бензином пахнуло в лицо.
Тут вырос бы страх,
сам собою гоним.
«Бежать!»
Он шептал бы,
безволен
и мелок,
когда бы
бок о бок
с ним,
твердея лицом,
не стояла смелость.
Суслонов лежал,
гранату в руке держал.
Смекнул:
и у танка есть уязвимость.
«Вот только б не мимо, только б не мимо».

Танк дрогнул и, вздыбленный, заелозил.
Суслонов вторую гранату бросил.
Не страх — им владела жестокая радость,
что силе такой он поставил преграду,
что он, комсомолец, провел черту,
собою прикрыл и свою мечту.
Ведь лязгали гусениц позвонки
затем, чтобы он никогда уж больше

не смог прочнтать нн одной строкн,
Наташнных глаз ие увндел больше.

А тот,
в броннрованной скорлупе,
чего бы надменно ни мннл о себе:
пускай он по чнну — полковннк, не нндже,
он — завтрашнннй офнцнант в Парнже.

Он в пажеском корпусе Пушкина строкн
не раз декламнровал на уроке.
Но он не за Пушкнна
шарнл по целн
глазамн нз танковой щелн.
За Пушкина, — сами того не зналн,—
еще полуграмотные в большннстве,
красноармейцы умнралн
иа той, иа колючей осенней траве.

Все блнже
в тумане гиилом
впередн
Турецкого вала преградой
вставал Перекоп, и его перейтн,
чего бы ни стоило,
иадо.

6

Ветра́ леденят. Морозно.
Декабрь. В Севастополе голодно, хмуро.
Грнгорнй в палате сыпнотнфозной.
За сорок температура.
Все тело в огне. Голова в огне.

Луна...
Не луна, а прожектор в окне...
Не в окне, а по ровному шарит полю,
где цепи красноармейские залегли.
Поднялись и опять залегли,
ста метров пройти не могли.
Григорий щурит глаза от боли.
Матрос на соседней койке
тоже
в бреду...
Сестра подошла, но чем поможет?
Обметаны сыпью сухие губы.
Он проволоку колючую рубит.
А пушки палят и палят
по красноармейским цепям, по нему,
сто семьдесят пушек палят по нему.
Глаза... Как им жарко! Они болят.
Жара... Все тело горит... Жара...
Матрос на соседней койке
не дожил до утра.
Его унесли санитары.
А Григорий
со смертью спорит.
«Умри! — говорит она. — Умри!
Я знаю, тело твое сгорит,
испепелится от сыпняка.
Видишь, какою прозрачною
стала твоя рука».
Григорий слышит ее и не слышит,
прерывисто, жарко дышит
и бредит:
«Неправда! Я не умру!
Меня еще мама встретит.
Я голос ее услышу:

«Какой-то чудной ты, Гриша».
Он тронул лицо.
Суха, горяча ладонь.
Огонь...
Из черных пушек вылетает огонь,
Из пулеметов — огонь.
Вся в инее белом у Перекопа трава,
и клонится, клонится к ней голова,
чтобы немножко
лоб остудить.
«За это ж не станут судить», — подумал
Григорий.
От заиндевелой травы утихла жара.

...На каменном полу в коридоре
его отыскала сестра.
Григорий подумать не мог бы даже,
что с полу его подняла Наташа.
Все время в бреду, в жару —
узнаешь ли новенькую сестру!

На койке уснул. Полоска зари
в окне заалела. Грише приснился сон:
вошел старичок и сказал:
«Я Фламмарион.
Приехал с тобою поговорить.
Знаком я с твоею Родиной
не больше, чем с малой звездою, с ее орбитою,
но пройденной и не пройденной
дороге твоей завидую.
Живи, дорогой, учись,
глазами над книгой лучись!
Вся жизнь у тебя впереди».

Григорий закашлял. Хрипы в груди.
«Я вижу, безносая бестия
стоит над тобой, над вчерашним воином,
но верю, какому-нибудь созвездию
будет имя твое присвоено».

Ноябрь — декабрь 1966

ВЫСОКОЕ НЕБО





Делегатам Первого Всесоюзного съезда Советов, состоявшегося 30 декабря 1922 года.

1

Все помню: и холод, и голод,
и огненный бред сыпняка,
и кавалерийскую школу,
что мне и сегодня близка.

О многом в армейских уставах
сегодня строка отжила,
но конницы красная слава
из песен еще не ушла.

Хрустящую сбруи упругость
опять ощутила рука,
как будто бы к стремени друга
в строю прикоснулся слегка.

Он был и на выдумки скорый,
мой друг и по койке сосед.
Но часто в иные просторы
торили мы тропку бесед.

Шуршало, стучало по раме,
клубилась в окне белнзна,
а мы, два юнца, вечерами,
бывало, сиднм допоздна.

Мы мерили временн сроки
мечтою. Метелн мели,
но мы различали дороги,
что в будущее велн.

Прошли, прошумелн годы,
как ветер иад головой.
С какой-то пурги-непогоды
и друг побелел головой.

Что писем ие пншет — упреки
к чему? Ведь и я не пишу.
Ах, пройденные дороги!
Я вновь их ветрами дышу.

2

Было: Россия иа кромке
года того
в труде
черной разрухи обломки
подобрала ие везде.

Медленно набнрала
силу, ио время пришло:
мертвые домны Урала
вдруг задышалн тепло.

Землю взрывая, роя,
строили, как могли.
Тачки на Волховстрое
руки мозолями жгли.

Знаю о том не по книжкам —
память мне сердце прожгла.
У паровозов одышка
на перегонах прошла.

Ах, железные дороги,
паровозов голоса!
То саянские отроги,
то уральские леса.

Ах, дороги, ах, дороги!
Все столбы да провода.
О днепровские пороги
билась пенная вода.

Только рекам не забылась
боль железная мостов:
сколько им за годы было
переломлено хребтов!

3

Ехали делегаты.
Тот хоть и был невысок,
бурка на нем угловата,
с блестками поясок.

В горле орлиный клекот
речи грузинской живой.
Горы Кавказа далеко
с гранью своей снеговой.

Где-то метели клубились.
Где-то... Москва впереди.
Ехал посланец Сибири,
пятые сутки в пути.

Буфер о буфер — грубо.
Скрежет железа, зимы.
Под головой полушубок,
а на ногах пимы.

Этот — на гимнастерке
красные ордена, —
верный армейской махорке,
молча курил у окна.

Женщина запевает.
Вот и все вместе поют.
Вся Белоруссия знает
ту делегатку свою.

То разыграются в песне,
то загрустят голоса,
словно туманов Полесья
влажно коснулись глаза.

Ехал поэт, быть может,
мысли рифмуя свои.
Муза его моложе
девочки Зульфии,
той семилетней, что станет
после на диво стройна,
в милом ей Узбекистане
славою вознесена.

Где-то остался город:
Гомель, а может, Ростов.
Сколько их — скорых, нескорых—
мчалось в Москву поездов.

Вот и проверка маидатов.
Вот и заполнеииый зал.
Деиь тот иемеркиущей датой
век в калеидарь запнсал.

Час или только двенадцать,
важио ли — дали ясны.
Вот оио, золото иаций,
вот оиа, воля страиы.

Равиые средн равных...
День был, быть может, и сер,
ио засияли державио
буквы СССР.

...В Горках от сиега бело.
Снежиых деревьев вершиииы
зыбки, и след машнны
перед крыльцом замело.

Снежные тучи иависли.
Тяжесть забот велнка.
Только от ленинской мысли
зрнмее стали века.

4

Годы — за вехою веха.
Где-то в сугробах заря.
Миого ль, немиого ль — полвека
счет от того декабря.

В братстве республик Россия
выпрямилась во весь рост.
Черная металлургия...
Белые рощи берез...

Нет, мы недаром влюбились
в будущее тогда.
Волга и реки Сибири
светом текут в провода.

Вышло: не поздно, не рано,
мы и к Вселенной — рывок.
Вновь с голубого экрана
веет ее холодок.

Брезжит туманная тема.
Скажете — нету дна.
Солнечная система —
это ж деревня одна.

Может, не так-то и скоро,
только наверняка
каждый ее пригорок
чья-то обшарит строка.

5

Тропы — от домен, от тына.
Небо высо́ко стоит.
Здравствуй, сестра Украина,
реки и шляхи твои!

Солнце ли, дождь ли забрызжет.
Были бы думы чисты:
полем подсолнухов рыжих
снишься и в городе ты.

Сколько недлинных и длинных
троп! Сосчитаешь ли их!
Тучи в карпатских долинах,
словно в ладонях твоих.

Где когда-то бандуристы
рвали струны со слезой,
славят землю трактористы
каждой строчкой — бороздой.

Ходит по полю дивчина.
Ей дышать, ходить легко,
где ходил Павло Тычина,
до него — Иван Франко.

Над Днепром сверкает Киев,
к Броварам лежат следы.
На ограды заводские
грудью падают сады.

6

С Балтики снова подуло
свежестью моря, песка,
словно бы Юхана Смуула
там зазвучала строка.

Сушат рыбацкие сети
там трех республик ветра.
В море уйдут на рассвете
тралеры и катера.

Солнце посередине
Азии в небе стоит.

Светятся скулы пустыни
брызгами Сырдарьи.

Пусть и не голубая,
а желтовата волна,
в памяти имя Абая
не замутила она.

Ожили и пустыни.
Рядом — сдружила вода —
с вышками нефтяными
белые города.

Люди уж брови не хмурят,
глядя на горы в снегу.
Чашею, полной лазури,
видится им Иссык-Куль.

Есть она в памяти, дата.
Славим ее высоту.
Слезы мешали когда-то
людям понять красоту.

...Может быть, кто-то строгий
будет мне все же пенять,
что для республик многих
слов не нашлось у меня.

Каюсь. Но смею признаться,
трудный кончая подъем,
все они, все пятнадцать
в сердце моем.

Август 1972

ПАВЛИК МОРОЗОВ





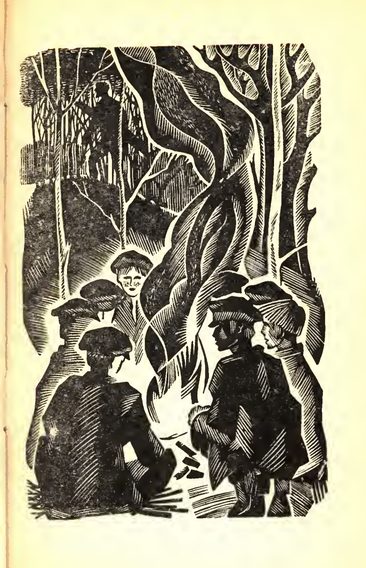
ШЛА ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА

....Не первый, в железо одетый,
с конвейера трактор сходил.
Завод, пусть еще не воспетый,
для славы себя утвердил.
В сердцах оставляя пометки
торжественностью борозды,
он встал к рубежам пятилетки
у волжской широкой воды.
Подняв корпуса, и Челябинск
к той славе себя торопил:
от сварки слепило до ряби,
ходили грома у стропил.
По пахоте многолемешной
себя проверяла страна,
кладя на вчерашние межи
железные те письмена.

СОБРАНИЕ

В Герасимовку
под вечер
приехал Зимин в санях.
Расправил колени и плечи
уже перед дверью в сенях.
Длинны и порою непро́сты,
но, где-то теряя следы,
бежали метельные версты
к той двери от самой Тавды.
В поездках он свыкся и с лесом.
Но вспомнит ложок в тальнике,
он вспомнит и гром из обреза
и шрам от него на руке.

Собранье гудело. И, толк
теряя в том гуле, глядело
на красный с графином стол,
в табачном дыму потело.
Не очень-то трезвый, похоже,
сидел за столом Трофим,
рукою, нетвердой до дрожи,
за горлышко брал графин.
Чтоб знала его старанья
(деревня не в счет) Тавда,
Советскую власть на собраньях
похваливал он... иногда.
В портфеле печать сельсовета
вместится и в горсть, но она
немалыми облечена
правами. Он помнит про это.
Про это и кулаки
смекнули, и рюмка плескалась



на пальцы его руки,
чтоб чокнуться с кем-то
искала.

Ухмылку не пряча, довольный
сидел Кулуканов. Спина,
лоснясь полушубком нагольным,
была и Наталье видна.
Батрачка не выбирала,
где сесть. И с последней скамьи
все видно. Перебирала
не бабьи тревоги свои.
«Под бедного ря́дится Рогов,
а дом, поглядишь: не стена —
в резных козырьках на дорогу
выходят четыре окна.
Иконам тесно́ на божнице.
На ликах лампадная дрожь,
и там же, болтают, хранится
в зазубринах финский нож.

«...Хитер Кулуканов. Искали,
но хлеб не нашли во дворе.
Добро надоумил Павлик
искать в ледяной горе.
На что, говорит, им такая
гора: кататься они
мальчишек чужих не пускают,
а в доме — девчонки одни.
И тут же, как был, в рукавицах
пешней, что в руках была,
ткнул — и на снег пшеница,
будто кровь, потекла».

Охотник Егор из тайги
вернулся. Пристроился молча
на кончик скамьи. Сапоги —
в кровинках со шкуры волчьей.
А шкуру, чтоб шла она впрок,
трепал на жерди ветерок.

Все видели
в мути табачной
Данилку. Держась в стороне,
пошатывался подкулачник
и гирьку держал на ремне.

Зимин говорил спокойно,
а если уж горячо,
то воздух рубил рукою,
вперед выставляя плечо.

Покашливая у порога,
робела еще тишина,
но Павлик влюблен в Зимина:
догадывался, что одна
по жизни у них дорога.

Сначала хлопки были редки,
потом становились под стать
той правде прямой: пятилетке
без хлеба железной не стать.

Леса и леса... За Уралом,
где зимы намного длинней,
деревня в лесах затерялась.
Метели да звезды над ней.

Хоть в мыслях окинуть попробуй
тот край, те глухие снега,
когда по-медвежьи в сугробах
ворочается тайга.

МАТЬ И ОТЕЦ

Зима отшумела вьюгами,
и, чувствуя радость земли,
дожди весенние с юга
по черным полям прошли.
Последние пятна снега
в оврагах изъела вода.
Скрипя на дорогах телегами,
пришла посевная страда.
Павлик на пашне,
в низине,
где осенью листья мели,
где обступил осинник
полдесятины земли.
Парнишка русоволосый,
в холщовых штанах, босиком
по единоличной полоске
идет за вертлявым плужком.
С отцом был бы день короче,
податливей полоса,
пахали бы вместе до ночи,
но нет у него отца.
Много обид он помнил,
но было обидней всего,
когда при матери дома
отец кричал на него:

«Дождешься еще, погоди!..»
За галстук хватал на груди.

Туман под лучами косыми,
редея, в ложбину ползет.
В чистой скатерке
сыну
завтрак Татьяна несет.
Спешит, скользя по дорожке:
— Проголодался, поди?—
Кофта на ней в горошек,
со сборками на груди.
То лес впереди, то поляна
с болотом гнилым в кустах,
но где не топтала Татьяна
тропинок в здешних местах!
Не где-нибудь, здесь невзгоды
ее застигали не раз.
Замужества горькие годы
тенью легли у глаз.
Помнит, как в лучшем наряде
за шумным столом она
сидела с Трофимом рядом,
счастьем своим смущена.
Но после, лицом темнея,
счастья напрасно ждала:
оно не пошло за нею
от свадебного стола.
Хочет вспомнить Татьяна,
слегка замедляя шаг,
Трофима не грубым, не пьяным —
и... не может никак.
Под суд угодил... Жалеет.
Все ж муж, но вздохнет: «Поделом!

Ведь знал же, поди, кто хмелеет
у Рогова за столом,
кто прятал в ометах и в ямах
лонишней [1] пшеницы мешки...?»
На раннее солнце Татьяна
взглянула из-под руки.
Уже долетает до слуха:
«Но-но, шевелись!» Бороздой
идет, торопя Гнедуху,
Павлик, лобастый, худой.
Окликнула. И, улыбаясь,
по вспаханному пошла.
На лапти земля налипает,
но разве она тяжела!
«Малы еще Федя и Рома,
а этот подрос. Двоим
нам будет полегче: дому
рушиться не дадим».
Все в дымке весенней поле.
На чистой скатерке льняной
яички, немножко соли,
нарезанный хлеб ржаной.
Садится поесть на полоску,
где стало совсем подсыхать,
парнишка русоволосый,
похожий на мать.
Горят на ладонях мозоли
от дедовского плужка...
С последней щепоткой соли
замедлилась что-то рука.
С обрывка газеты, в который

[1] прошлогодней.

завернута соль была,
пахнули степные просторы,
весенняя сизая мгла.
— Мама, гляди-ка! Это
трактор. Видишь, какой!—
Он подал обрывок газеты,
разгладив его рукой.
Брови насупив упрямо,
Павлик глядит на мать.
— Так и у нас будет, мама:
трактором будем пахать.
А кулаков проклятых
вытурим за порог.—
Мать грустным ответила взглядом:
— Не лезь на рожон, сынок.
— Не бойся! Тронуть попробуют —
им не сойдет это так...—
Черемухи белой сугробы
уже завалили овраг.
Весенний, еще сыроватый,
идет от нее холодок.
В тени на корнях узловатых
еще не дотаял ледок.

СУД

Прошла и весна.
Лишь порою
напомнят вдруг о весне
засохшею черной землею
зубья на бороне.
Уж в каждом хозяйстве косы
отбиты, прилажены все,

и скоро они на покосе
вымоются в росе.
А в школе полно народу,
в дверях, в коридоре стоят.
— Такого не видели сроду,—
в толпе старики говорят.
Полно и под окнами.
В классе,
где солнца и правды свет,
перед Советской властью
держит Трофим ответ.
Он хмуро свидетелей слушает,
сидя у всех на виду.
Татьяна, не глядя на мужа,
дает показанья суду.
Она бы на все вопросы
ответила, если б не жгла
горечь в груди, если б слезы
скрыть от людей смогла.
В очках, невысокого роста
привстал председатель суда:
— Свидетеля Павла Морозова
прошу пропустить сюда.
Павлик шагнул от порога,
не опуская глаз.
Не просто к началу урока
он входит сегодня в класс,
а, ко всему готовый,
идет
выездному суду
сказать пионерское слово
открыто, у всех на виду.
Ведь тут собрались и ребята
из пионеротряда —

он чувствует стук сердец...
Взглянул —
от его взгляда
отводит глаза отец.

Отец —
дорогое слово:
в нем нежность, в нем и суровость.
И горько под отчим кровом,
где братья меньшие и мать,
когда дорогим этим словом
не можешь отца назвать.
А Павлик хотел бы с ним рядом
шагать, посветлев лицом,
хотел бы перед отрядом
гордиться своим отцом.
Не для суда на вопросы
ищет ответов подросток,
а хочет себе ответить,
как ему жить на свете.

У КОСТРА

Уже к холодам сентября
торопятся дни и ночи.
Северная заря
по-лисьи мелькает в рощах,
и чаще все волчий вой
ветер в деревню доносит.
Березовою листвой
метет на озера осень.
И вот уже лес поредел,
опала листвы позолота
и клюкву на мшистых болотах

заморозок задел.
Белеет инея проседь.
Все холодней погода.
Стоит на полях осень
тридцать второго года.
Эхо то смолкнет, то снова
гулко звучит и тает.
Как от стены, слово
от зари отлетает.
Яша пропал в лесу.
Кличут его всё слышнее,
но трудно ль, увидев лису,
забыть все и красться за нею.
Красться через кусты,
через продрогший и синий
весь оголенный осинник,
может, не меньше версты.
Яше — ничто не помеха.
Но сердце так громко стучало,
что он и не слышал, как эхо
имя его повторяло.

Но Яша уже у костра,
где света и тени игра.
Сидит и, в осенней красе,
на пустоше, в дикой чаще,
рассказывает о лисе,
о виденной, настоящей,
рассказывает, увлекаясь,
и всем показалось вдруг:
не осень — лиса золотая
леса опалила вокруг.
Как вылитая из меди,
на старой сосне кора.

В отряде никто не заметил,
как вечер присел у костра,
как погас на болоте
последний отблеск зари...
Пусть добрый отец у Моти
наказывал строго: «Смотри,
чтоб засветло была дома!..»
Уставив в огонь глаза,
сидит восьмилетний Дема,
чуть виден из-под картуза.
Счастливее всех на свете
он в этот час у костра.
А мать обошла соседей:
Демка пропал с утра.
На корточки Павлик садится,
дослушать рассказа не дал.
— Подумаешь тоже... лисица,
я волка вчера видал.
Из кóлок домой не дорогой,
а лесом пошел — напрямик.
Иду, а навстречу — Рогов.
Я тут же свернул в тальник.
Стою за кустом.
Он тоже
остановился.
Потом
быстро пошел.
У остожья
вытер лоб рукавом...
Когда он ушел
(не лесом,
пошел дорогой другой),
я к сену скорее... Железо
нащупал в сене рукой.—

Павлик глядит на лица;
меняют их тени и свет.
В лесу прокричала птица,
аукнуло где-то в ответ.
Бьется у Павлика сердце,
но не одиноко оно:
все десять сердец пионерских
стучат, как сердце одно.
Рвется к звездам осенним
пламени красный флаг.
— Пашка, а что было в сене?
— Винтовки хоронит кулак.

Тропинками, как покороче,
идут пионеры домой.
«Взвейтесь кострами, синие ночи»,—
властвует песня над тьмой.

КОММУНИСТЫ

Уж поздно.
Над лесом черным,
багрово озарена,
как вынутая из горна,
большая взошла луна.

Поделена на половины
изба. В полуночной тиши
бессонная глазом совиным
коптилка покой сторожит.
Отрадно за перегородкой
побыть и с собою самим.
Уткнувшись в ладонь подбородком,
склонился над книгой Зимин.

С заданием от райкома
он снова в деревне. Ему
в райкоме, как никому,
деревня эта знакома.

Ходил на охоту и долго
сегодня не спит и Егор.
Пускай темновато, двустволку
прочистил, протер.
Разулся. И только поставил
на печку сушить сапоги,
послышались чьи-то шаги
и стук в затворенный ставень.
Егор босиком вышел в сени.
Открыл.
          — Ну, входи, сосед.—
В избу холодок осенний
ворвался за Павликом вслед.
Не слыша, как дверь проскрипела,
шагнул пионер в тишину.
— Я, дядя Егор, по делу
к товарищу Зимину.
Можно сейчас?
— Полуночник!
Приспичило. Без десяти
двенадцать... Устал он очень.
Долго-то не сиди.—

Неторопливо и глухо
тикают в тишине
засиженные мухами
ходики на стене.
Стре́лки на циферблате
сошлись и раздвинулись вкось.

Хозяин залез на полати:
— Видать, засидится гость.—
Лают собаки где-то,
петух прохрипел на шесте.
Ночь дорогу к рассвету
найдет по Полярной звезде.
Леса да тропинки волчьи
деревню замкнули кольцом.
Выслушав Павлика молча,
Зимин потемнел лицом...
Холодный северный ветер,
звезды да свет луны,
и в мертвом холодном свете
тени черны.
Спешит по деревне Зимин,
и тень его рядом с ним
торопится.
Вместе с нею
Зимин ускоряет шаг.
Прошел каланчу.
Темнеет
над сельсоветом флаг.
Оттуда, чтоб нужное слово
спешило, с делами в ладу,
прямой телефонный провод
бежит по столбам в Тавду.
Простерлась, права и сурова,
на тысячи верст земля.
Прямой телефонный провод
бежит до Москвы, до Кремля,
и в тот кабинет, в который,
причастно к ночам и утрам,
внимательные коридоры
ведут по неслышным коврам.

Сквозь свет этажей пролетая,
торопятся лифты туда...
А где-то листву наметает
к столбам и гудят провода.
Уснула деревня где-то,
уйдя от забот, от зевот,
и звездами над сельсоветом
отяжелел небосвод.
В холодную трубку дышит
и дует с досадой Зимин
с пространством один на один.
Кричит, но Тавда еле слышит.

ПО ЯГОДЫ

Осенней позолотой
осыпался лес, поредел.
Клюкву на мшистых болотах
заморозок задел.
Но клюква поздно поспела,
и ей холода не в счет.
Она под инеем белым
стала сочнее еще.
В ягодной местности здешней
ее по тропинке в лесу,
с инеем перемешанную,
красную, в ведрах несут.
И лакомятся медведи
клюквою в сентябре...
Павлик с братишкой Федей
встали еще на заре.
Взяли пустые ведра,
звякнув дверным кольцом,
и зашагали бодро

тропинкою,
к солнцу лицом.
Маленький Федя доволен,
с брата не сводит глаз.
С восходом солнышка
в поле
вышел он первый раз.
Он с Павликом вместе согласен
все тропки измерить шажком:
ведь Павлик в четвертом классе,
а он — еще ни в каком;
Павлик в отряде первый,
а Федя пошел бы в отряд,
но ему пионеры
еще подрасти велят.
Тропинка бежит перед ними,
порою заметна едва.
С кустов осыпается иней,
Хрустит под ногами листва.
А там, где тропинка — в развилку,
которую не обойдешь,
за пазухой тронул Данилка
в зазубринках финский нож.
Стоит подкулачник.
Ребятам
в кустарнике не видать,
и Федя счастливый за братом
трусит, чтобы не отстать.

Уж солнце высоко. Растаял
иней на крышах давно.
Татьяна, детей поджидая,
то и дело глядит в окно.
Еще никогда не боялась

так за детей она.
Пошла, на крыльце постояла
и снова сидит у окна.
«Наталья по ягоды позже
пошла, да и ноги болят,
а дома давно уж. Может,
Наталья видала ребят?»
Выбежала за ворота,
глядит: не дорогой прямой,
не улицей — по огородам
Данилка идет домой.

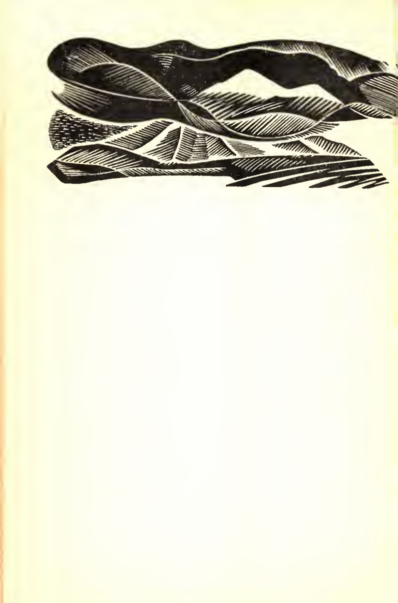
«Чего это он, острожник,
идет стороной от людей?»
Дрогнуло сердце тревожно:
«Давно ведь грозился, злодей...»
К Наталье зашла. От Натальи —
к Егору: детей не видали.
Проулком, поросшим бурьяном,
бежит, ног не чует Татьяна...
А листья краснее меди
на мертвых летят и летят.
Уже не придется Феде
вступать в пионерский отряд.
В стриженый детский затылок
сухая уперлась трава.
В глазах незакрытых застыла
северная синева.
И Павлик меж тальником
и молодыми дубками
лежит, упавший ничком,
со сжатыми кулаками.
На землю, засыпанную листвой,
он пал, как солдат на передовой.

ЭПИЛОГ

Та осень далеко. Сквозь годы
ее различаешь едва.
Туманы прошли, непогоды,
слеглась перегноем листва,
листва, что в ту пору кружилась,
колеблемая ветерком,
на узкую тропку ложилась
неслышно листок за листком.
Ничто не сотрет со страницы
те крики, тот финки замах.
Лицо, как ни прятал убийца,
застыло у мертвых в глазах.
Мы знаем, вернее, не знаем,
какой та минута была,
и все же тропинка лесная
оттуда до нас пролегла.
А значит, и Павлик — с нами.
Его не коснулись года.
Над ним пионерское знамя,
какому служил и тогда.
Для смелых сердец примером
ровесником пионерам
он в бронзе у древка стоит.
Он времени отдал для меры
недолгие годы свои.

1949, 1978

ВСТРЕЧА НА БЕРМАМЫТЕ





1

Поднялся всадник на плато.
Тропа ведет на Бермамыт.
Такого воздуха б глоток!
Он разрежён и весь промыт.

Тропа ведет на летний кош.
Перед дождем болит нога.
От низких ливней с ледников
сочней альпийские луга.

Эльбрус высок. Слепит глаза.
В небесных искрах лед и снег.
Как равный равному, в глаза
глядят гора и человек.

Он слез с коня. Всем руку жмет.
Гроза сверкает у вершин,

а он с табунщиками пьет
густой айран и ест гиржин.

2

Со мной в машину сел попутчик.
Бегут откосы, скалы, кручи.
Летит машина. Горный ветер
от быстроты в зубах звенит.
Еще от столика в буфете
старик ведет рассказа нить:
— От снега весь как соляной.
Окоченел. Сижу в седле.
И уж над самой крутизной
табун прибит, прижат к скале.
Буран свистит. Уж сколько лет
таких буранов не бывало,
чтоб даже в бурке продувало.
Лег жеребенок — значит, плох,
не встанет, чем его ни грей;
уже последнее тепло
буран сорвал с его ноздрей.
Буран сгибает и меня,
не разглядеть ушей коня,
до трубки не донесть огня.
Мне страшно стало. Упаду,
подумал я, и заметет,
как жеребенка. Наших жду,
но знаю: помощь не придет.
С зимовника́ в буран
никто
не проберется на плато...
Столкнулись ко́нями.
Сначала

и не узнал,
гляжу — начальник,
наш Черепанов.
Шпора к шпоре
стоим. Летучий прах крутя,
буран ревет. Кричу: «Григорий
Васильевич!» И, как дитя,
заплакал. Лошадь обнимаю
и ничего не понимаю.
Сейчас не понимаю, как
пробрался он с зимовника.
Табун спасли.
— А Черепанов,—
я спрашиваю старика,—
рябой?
— Да, рябоват слегка.
Я вспомнил Оренбург, кавшколу,
окно, луну, ноябрьский холод,
у печи брошенный колун
и сучковатое полено,
и в битых стеклах на полу
осколки светлые Вселенной.
Нас было двое в карантине.
В той комнате — на середине —
один топчан был на двоих.
Легки казались нам шинели,
и мы всю ночь друг друга грели
теплом продрогших тел своих.
Проснулись вместе в зимней рани,
и я уж знал, что был он ранен
и награжден (за смелый рейд
в тылу врага под Белебеем)
кавказской шашкой в серебре
на офицерской портупее;

что летом ездил он домой
и что в кармане гимнастерки
о смерти матери письмо
в зеленых крапинках махорки;
что Черепановкой зовут
его деревню;
есть в ней пруд
и старый тополь, где купались,
над прудом прозелени дым;
что Черепанова все звали
в деревне Гришкою Рябым.

Мы в то же утро стали оба
курсантами второго взвода,
и рядом с нами в разворот
шагал в строю двадцатый год.

3

Тополя, как вода, шумят в темноте.
Над вечерней долиной встает туман.
Забелевшей дороге, ближайшей звезде
занавесками в окнах машут дома.

Идет пирушка все шумней,
и все теплей беседа:
про жизнь, про горы, про коней.
Сосед обнял соседа.
Стаканы подняты. На дно
не горечь ли осела?
Но коневоды пьют вино
и хвалят виноделов.
Клубится дым от папирос,
и наливают снова.

И Черепанов начал тост
за гостя дорогого:
— Товарищи, я знаю, где б
нам ни растить коней
нам песня — что вода и хлеб,
что воздух, а сказать верней —
в горах, как с другом, едешь с ней.
И часто хочется запеть
о том, как ты живешь,
и песню чувствуешь в себе,
да слов не подберешь...
Та песня будет сложена!
Тут за поэтом слово.
Давайте выпьемте до дна
за гостя дорогого!

Я чокаюсь.
Друзья вокруг.
Их целый мир.
Теснее круг!

4

Сверкнуло.
Туча вся светла.
Дождь хлынул сразу,
но вначале
я даже капли различаю:
они летят у самых глаз.
Льет все плотнее, все шумливей
студеный горный дождь.
В столбы
воды,
в косые стены ливня
бьют ядра молний голубых...

И сразу солицем брызиул день.
Здесь грозы иедолги.
Цветы молчат, стоят в воде,
дрожат их лепестки.
И далеко за гориый гребень
уходят клочья облаков,
и радуга в промытом небе
стоит иад зеленью лугов.

Такне коин крепкой костн,
копыто — нскры высекать,
и Черепанов водит гостя
по табунам й косякам.

Есть жизнь своя у косяка:
тропа иа речку, облака,
трава да сладость ветерка.
Подружкн головы кладут
друг дружке на плечо.
Идут — так рядышком идут,
а если солнце припечет,
то уж не час, так полчаса
уйдет друг дружку почесать.

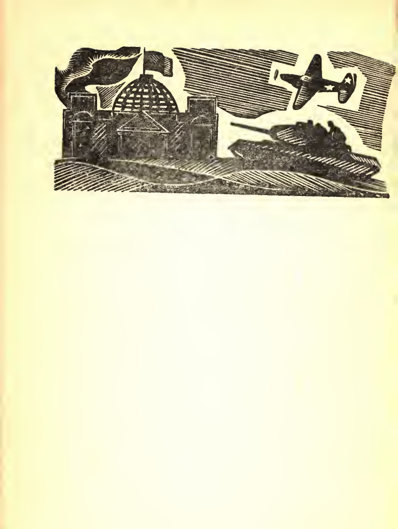
У тонконогих жеребят
в глазах заря и тенн гор.
И Черепанов счастлнв, горд.
Столетья плакала зурна,
и конь был худ и ннзкоросл.
А вот — иди по табунам,
бери коией себе, колхоз,
берите, красиые бойцы,
коией горячих под уздцы.

Я думаю о жизни друга.
Гордится ею вся округа.

Ее свинцом прошил Колчак,
ее басмач рубил сплеча,
о ней гремит ручей,
в горах копытами стучат
три тысячи коней,
о ней неделями подряд
свистит железо вьюг,
о ней свинарки говорят
и птичницы поют,
и тра́кторов скороговоркой
начнет рассказывать заря,
и ордена на гимнастерке
о жизни друга говорят.
Я думаю о нем — и в мыслях
года минувшие встают.
Я с этих трезвых горных высей
яснее вижу жизнь свою.
О, если б снова жизнь заставить
по пройденным путям кружить!
Я в сердце ощущаю зависть,
верней — не зависть, — счастье жить.

1936

НЕСМОЛКШАЯ ТИШИНА





1

Распахнуты залы. Но я не спешу.
Тут время само вместо гида со мною.
В музее[1] стоит тишина, но дышу
историей, не тишиною.

Так было.
Война еще вся впереди.
Победа в глаза еще нам не глядела.
Но где-то уж к ней
самолетом
Гастелло
свой огненный след прочертил.

И ради нее
Талалихин
таранит

---

[1] Центральный музей Вооруженных Сил СССР.

фашистского аса. (Бесстрашен и страх
в секунды такие.)
В предутренней рани
в леса подмосковные рушится враг.

Мы верой в себя не ослабли.
Уже декабрем обожжен,
Доватор студеную саблю
выплескивает из ножо́н.
А Зорге...
Из Токио сведенья то́чны.
Шифровка
(и эта)
права и смела.
И вслед эшелонам дальневосточным
по рельсам поземка мела.

Снега Подмосковья.
Седое,
всё в пороховой синеве,
раскинулось поле боя
на подступах близких к Москве.

Тут наша судьба решалась
стратегией, грудью, броней;
тут ржавое перемешалось
железо войны с землей.

Распахнуты залы. А там —
в дыму Сталинград...
И к победе,
к тем,
порохом пахнущим,
майским садам

шагать и шагать
сквозь свинцовый ветер.

Износим еще не одни сапоги.
Легко ли
от вьюжного Клина
до огненной Курской дуги —
с боями...
Потом до Берлина.

2

Пусть это музей. Не война.
Война отгремела давно, отпылала,
но это она, она
притихла знаменами в залах.
По снегу
легки,
чуть приметны следы,
но девичьи руки
спокойны, тверды.
Бывали порой и прикушены губы...
Два снайпера —
Шляхова и Прядко.
Их ласку дочернюю, смех белозубый
забыть матерям нелегко.

Напомнила медь трубачей полковых
о том, что метели, свистя над страною,
Матросова стриженой головы
не тронут уже сединою;
уже не состарят ни слава, ни даты.

Каким
к амбразуре
метнулся в бою,
таким и остался.
Солдатом.
Навечно в строю.

Комбату Потемкину двадцать лет,
и был он отважным, немножко поэтом.
В окопе под Витебском огненным летом
вручили ему партбилет.
И тут же, а может, потом под огнем,
на гладкой планшетке, где местности кроки,
в блокнот набросал он о чувстве своем
простые, но клятвою ставшие строки.

Партийность поэзии. Мысли эти
сегодня опять овладели мной.
Недаром стихи и листок в партбилете
окрашены кровью одной.

Какие живые, родные глаза
глядят на меня с фотографии блёклой.
Тот год сорок третий, та осень
далёко.
Уже не расслышать и те голоса.
Их много, героев.
Я снова здесь
и снова
ломаю
намеченный график.
Ах, если б они —
сколько в залах есть —
в поэму сошли с фотографий!

Он шарил биноклем. Все близким
открылось Петрову на той стороне.
Забыть ли днепровские брызги
на лицах, на танковой серой броне,
тот полдень, что рушился, дымен.
Ах, руки!.. Толкнуло сперва,
потом обожгло...
Пустыми
останутся рукава.

3

Пусть это музей. Не война.
Война отгремела давно, отпылала,
но это она, она
притихла знаменами в залах.

Осмотришь ли все за четыре часа?
Война ведь годами себя измеряла.
Воронки. Обугленные леса.
Один за другим — эшелоны с Урала.

То в зимы, то в весны торопятся дни.
К чему на разъездах расспрашивать?
Не скроют брезенты
брони,
зеленым окрашенной.

На запад —
за лавою лава.
Салюты —
к звезде звезда.
Танкистов железная слава...
Нерусские города...

Майор
с рукавами пустыми,
но там, на черте огневой,
и звездочками золотыми
блеснула мне доблесть его.

Все было:
и вскрики,
и стоны,
и радость порой, как обман,
и стол операционный,
и лица врачей сквозь туман,
и время, за месяцем месяц,
томило палат белизной,
где приторных запахов смеси
и след на бинтах кровяной.
С врачами не просто поладить.
И был он признателен дню,
что вырвал его из палаты,
чтоб снова — к броне и огню,
туда, где охранной расписки
никто не дает смельчакам,
где
рек, что форсируют,
брызги —
по впалым, но жарким щекам.

...Встань, строчка, с характером вровень
и эти слова сбереги
о нем, генерале Петрове,
ученом
всему вопреки.
Есть люди как совесть.
Их душ высота —

народной души высота,
и гордится
такими народ...
Прихожу я сюда,
чтоб верностью Родине
причаститься.

4

Приказов суровые строки
храним до последней строки.
Длинны на войне дороги,
в музее они коротки.

Еще над землею
от горя черно,
но видится
светом омытая
дата.
Все больше медалей и орденов
блестит на груди солдата.

Германия порохом дышит
последней военной весны.
Стекают закаты по крышам
готической крутизны.

Еще не замкнула история круг.
Но танки — уже не в Белграде —
по Праге проходят
в ограде
улыбок, ликующих рук.
Чтоб там,
где таились

разведчиков тропы,
шла песня
открыто
в страну из страны,
чтоб стерла, опомнясь, Европа
с лица обожженного
тени войны.

5

Фанфары[1].
Гляжу не без гордости:
не песня ль, не песня ль сама
серебряные их горлышки,
кисточки, бахрома.

Реликвии. Много их. Мимо
пройдешь ли, чтоб не постоять
у них, тишиною хранимых,
волнения не тая.

В музее стою.
Нет, к бессмертию в дом
пришел я.
На крашеном древке простом
есть знамя —
единственное на свете:
его над рейхстагом
расплескивал ветер.
Не только моя
тут ложится строка,

[1] Фанфары, которые 24 июня 1945 года возвестили о начале Парада Победы на Красной площади.

и все же
не все еще мы рассказали
об этой, развернутой от древка,
святыне в торжественном зале.

Мундир Рокоссовского будет
сохранен во все времена.
Несмолкшая тишина
тут многое в памяти будит.
Мундир.
По нему угадаем и рост,
и статность, что где-то уж бронзою стала.
Сиянье маршальских звезд
в глазах у меня осталось.

Тельняшка
той былью сурова
и славе в музей отдана.
Полосками цвета морского
чью грудь украшала она?
О судьбах матросов-героев
гадаю, и видится мне
за белой Сапун-горою
родной Севастополь в огне.
Реликвии.
Много их...
Я утомлен
пытливостью, долгой по залам ходьбою,
но бодрствую. Ленин глядит со знамен
гвардейских, летавших над полем боя.

Стены беломраморная высота
за тенью знамен предо мной вырастает,

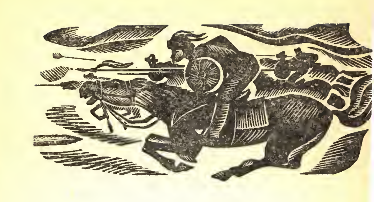
и слава,
        будто с листа,
на ней имена читает.

Распахнуты залы, но я не спешу.
Стою перед
        мемориальной стеною.
Она и сегодня — о чем ни пишу —
бессмертной страницей передо мною.

Апрель — август 1973

СЛЕДОМ ЗА ЛЕГЕНДОЙ





И военною славой заплакал рожок...
Александр Блок

1

Я книгу читаю.
На толстые корки
осели века.
Обуглеиы буквы пожарами,
слезами размыты.
Страиицу иную
переворачиваю едва:
так тяжела оиа,
истоптаииая войиами.
Я ие заметил,
с которой страиицы,
но со страиицы, конечио,
ои появился.
— Я с Куликова поля,—
глухо сказал ои.—

Шесть столетий
лежат за плечами моими.
Видишь, кольчужка покрыта пылью.
...Все стрелы, а было их тучи,
летели в меня,
сабли кривые рубили,
копья кололи.
Мамай торопил,
чтоб скорее убили меня.
Передний полк
был вырублен весь,
а я знаменосцем был в том полку.
Поле кровью намокло,
в криках и стонах,
в топоте конском было,
но жив я остался.
Время велело, чтоб я
сошел со страниц этой книги
и все рассказал.

2

Не поле орать,
не ребяток растить
мне пришлось и потом.
Неораным поле осталось мое.
Не соха кормилица —
секиры да бердыши
натруживали руки опять.
Рвами с водой,
земляными валами
города себя окружали,
Москва Кремлем огораживалась
каменным,
Царь-пушку, Царь-колокол отливала.

Я у тех святыиь ходил,
заскучав, слова твердил,

так иегромко про себя,
ус колючий теребя.

У кольчужки рукава
локти прятали едва.

Был шелом, ио что шелом!
До волос иа ием пролом.

Шла Ливоиская войиа.
Но балтийская волиа

ие тогда ладоиь мою
остудила. Призиаю.

Было: взглядом до кишок
царь Иваи меия прожег.

Я же миожил, как всегда,
славу ратиого труда.

Кто-то стал землей, травой.
Я иду, свищу — живой.

Брав, хотя и рябоват,
в рукопашном черту сват.

Сколько дырок залатал
иа муидире — ие считал.

Но запомиила рука
те, что были от штыка.

Пешим был и на коне.
Амуниция при мне.

Пушкарем, горнистом был.
Бой полтавский не забыл.

3

Передний редут.
Пахло бруствером свежим,
июньскими травами пахло.
В обнимку с ружьем
задремал я.
Ночною прохладой
тянуло от Ворсклы,
украинской речки.
Нас тысячи было —
московских, рязанских, смоленских,
калужских, орловских.
Да всех перечислишь ли?
В синих мундирах
мы схожи были друг с другом,
солдаты России.
Где — я, где — не я,
было трудно порой разобраться.
Ружье обнимая,
душой я во всех растворился.
...Шатер полотняный
в ночи был не виден,
но был он.
Нерусское знамя
мял ветер.
Я знал:
Карл XII

тыкал упрямо на карте
в редут,
где в обнимку с ружьем
прикорнул я немного.
Когда началось,
загремело окрест,
я не дрогнул.
Все пули
от шведов
летели в меня,
все ядра катились к ногам,
нависали штыки.
Я не дрогнул.
Не я — Карл XII сгинул.
Так время велело.

4

А время катилось,
как с гор снеговые обвалы.
Сменялись цари и царицы,
министры сменялись.
Я не сменялся.
Суворова помню,
небесные Альпы,
снега Сен-Готарда.
Те кручи — и глянуть-то страшно —
сердец не страшили.
И, пушек не бросив,
мы лезли, чтоб где-то
спуститься поближе к России.
Меж скалами пропасть дымилась,
куда я сорвался.
Лежал бы там долго,

заваленный снегом,
когда б не услышал трубу
с Бородинского поля.

5

Чугунные ядра.
Опять чугунные ядра.
Багратионовы флеши
окутались дымом.
Атака французов отбита.
Вторая отбита,
шестая, седьмая...
До вечера бились.
Зарю не припомню.
Наверное, красная —
с дымом багровым,
с солдатскою кровью
смешалась.
Да, стоя под ядрами,
мог ли ее и увидеть.

Кутузова помню.
Старик после битвы
нахохленней стал и сутулей.
Легко ли оставить Москву
на плен, на пожары.
Но в думах своих
он, наверно, уж видел
и Березину,
и костры на снегу, на которых
французы сжигали знамена.

Лицо мое
вряд ли он помнил.
Нет, помнил отлично!
Но не на парадах,
когда он скакал на коне перед строем:
его он запомнил,
когда выходили солдаты
из рукопашного боя,
когда оно было
от пороха черным, со струйками крови.
Знал он и думы мои.
Склоняясь над картой,
приказ отдавая,
учитывал их.
Но все ли он знал обо мне,
хоть и мудрым был и ласков с солдатом?

Я ж, елова голова,
про себя твердил слова.

Крепостной Руси солдат.
Не скажу, что без наград.

Ведь стране известно всей
сколько брал я крепостей,

сколько брал я городов.
Вновь на подвиги готов.

Если правая она,
с супостатами война.

Но, ухмылкою дразня,
скажут: «Розги? Так, мазня».

И не кто-то, я, герой,
прогнан был не раз сквозь строй.

Как шпицрутенами бьют,
знаю: падать не дают.

Позади и впереди
ружья. Под ноги гляди.

Был едва ли ровным шаг.
Барабана бой в ушах.

Службу нес. В рубцах спина
под мундиром не видна.

Что могла Россия-мать?
Только слезы утирать.

Та Россия, что со мной
связана избой курной.

Тут всего не рассказать.
Я — под ядрами опять.

6

Одиннадцать месяцев
не ухожу с бастиона.
Чугунные ядра
всю землю изрыли.
От пыли,
от дыма горячего
душно и смрадно.
Кричу: «Бережись!» — если «бомбу»

услышу я в воздухе близко.
Смерть рыщет везде.
Ни один уголок защитить не может.
Но в свисте и грохоте этом
я все же угадываю нередко:
постукивают колеса
мирно,
как в поле деревенские телеги,
а это проезжают «покойницкие фуры».
Колокол в Севастополе
тенькает тоненько.
Значит, хоронят, хоронят, хоронят.
В боях огрубел я душою,
но, слушая колокол,
слезы со щек утираю.
В каждом убитом,
в каждом, кого оплакивать будут
родные,
себя угадать мне не трудно.

7

Дали застило туманом.
Боль кричала, души жгла.
По турецким ятаганам
кровь болгарская текла.

Жизнь моя проходит в войнах.
Что ж, не хвор и не горбат.
«А на Шипке все спокойно»,—
кто-то скажет невпопад.

Ветры как бы тут ни дули,
все равно слышней всего

тонкий свист турецкой пули
возле уха моего.

Мне время внушило,
что убит я не буду.
Но могут ли ранить?
Об этом я как-то не думал.
А пуля задела.
Лежу на соломе гнилой
в каком-то сарае, который
сестра милосердия госпиталем называет.
Голова забинтована.

Знал тогда и ныне знаю,
что от раны не умру.
Потому и вспоминаю
милосердную сестру,

вместе с нею, чернобровой,—
и Болгарию в слезах:
моря цвет и гор суровость
в гордо поднятых глазах.
Ноют ноги к непогоде.
Но еще тверда рука.
О четырнадцатом годе
память — кровью со штыка.

8

Изъеденный вшами,
три года сидел я в окопах.
Война грохотала,
устала, но все грохотала.
Воронки (а сколько их было!)
чернели, как пятна от оспы.

Снега походили
на марлю на ранах кровавых.
Запомнил и это,
да мог ли и не запомнить?
Ни немцы, ни мы
в этот день не стреляли.
Ни облачка в небе.
Тянул ветерок
от немецких окопов.
Туман? Но откуда туману?—
подумалось вдруг.
А оттуда
пошло и пошло в нашу сторону.
«Газы! — услышал я. — Газы!»
И понеслось, понеслось по окопам
страшное это слово.
Закашлял, бегу, как другие.
Упал бы и я,
захлебнулся той смертью, как многие в роте,
сожженные легкие
с кровью выхаркивал, корчась,
но времени я,
видно, был еще нужен.

9

Так много и трудно
еще никогда я не думал.
Весна. Восемнадцатый год.
На заборах
декреты за подписью Ленина.
Вспомнил:
«Не вспахано сколько!

За сотни-то лет поотвык от землицы,
а был землепашцем когда-то».
По улице —
рота за ротой.
Печатают шаг не особенно —
это я сразу заметил.
Да и равнения нет настоящего,
выправки нет.
Но от знамени
лица красноармейцев светлеют.

Впервые стою
не в строю, а на тротуаре
с зеваками прочими вместе.
Потопано было и мною.
Всего и не вспомнишь:
походы, парады,
и лихость была на лице,
но слепая была эта лихость.
А эти идут,
и светлеют их лица
осмысленностью суровой.

10

...Писарю нужен
год моего рожденья,
чтоб в роту меня зачислить.
Топчусь у стола.
«В Куликовскую сечу
мне двадцать исполнилось.
Вот и считай», — говорю ему.
Писарь заерзал на стуле.

«Побаски-то брось.
Ни к чему они».
Я продолжаю спокойно:
«С Андреем Рублевым
(слыхал о таком?)
одногодки мы.
На Куликовом-то поле он не был,
соборы расписывал...»
Писарь метнулся со стула,
попятился к двери.
Вошел комиссар.
Не по кожаной куртке,
не по звездочке на фуражке —
по доброму умному взгляду
я в нем угадал комиссара.
Тянусь по привычке.
Но и ему повторяю то же.
«Хорошо, — говорит комиссар,—
так и запишем.
Годков лишковато тебе, но неважно,
мы, говорит, их на всех
в батальоне поделим». И рассмеялся,
молодой, белозубый.
«А землю пахать, —он добавил, уже посерьезнев,—
ты все-таки будешь.
Повоевать нам придется еще, и немало,
но войны исчезнут,
а землю пахать
люди вечно будут.
Не знаю, — сказал он,—
отлита она иль еще не отлита,
последняя пуля
для войны последней,
но пусть и она, пролетая,

тебя не заденет,
чтоб ты еще долго
рассказывал жизнь свою людям,
чтоб мир на земле
прославлять они не разучились.
Да вот и поэт,
пусть он в книгу уткнулся,
спроси: то же самое скажет».
Я вздрогнул, глаза подымаю.
Но книгу не отодвинул.
На толстые корки
осели века.
Обуглены буквы пожарами,
слезами размыты.
Страницу иную
переворачиваю едва:
так тяжела она,
истоптанная войнами...

21 января — 21 марта 1976

СЦЕНА — ШАР ЗЕМНОЙ





Зрелище величайшего театра,
...волны всех морей
по нем изостлались бархатом.
Вл. Маяковский

Ах, как придумано,
как здорово придумано!
Сцена —
ночь лунная.
Материки, океаны,
к полюсу — меридианы,
к полюсу,
к выпуклости ледяной.
Ах, как придумано здорово!
Сцена —
шар земной.
За кулисы заглянете —
чернота,
звезды,
бездонная глухота.
Действие:

не знаю какое —
третье? четвертое?
Участники —
живые и мертвые.
Монологи,
свиданья влюбленных,
выстрелы частые.
Все человечество
в этой драме участвует:
сварщики, пахари,
проститутки, тираны,
девушки в джунглях,
бинтующие раны,
где с посвистом
падают бомбы —
эти
продолговатые капли смерти.

Гардеробщик:
«Бинокль не хотите ли?»
Все мы — актеры,
все мы — зрители.
Смотрим с галерки,
из партера,
из литерных лож.
Огромен театр.
Режиссеры —
Правда и Ложь.

Палатка геологов
у самой небесной сини.
Тянь-шаньский ветер
хлопает парусиной.
На прутик антенны

радиоволны текут,
расщепляя частицы секунд.
Путь к перевалу
был крут и долог,
по вечерам ребята —
перед «Спидолой».
Кто сидит,
кто слушает стоя.
Пахнет снегом и высотою.
Слушают,
стараясь во всем разобраться,
мир увидеть
без аберраций.
Коробка «Спидолы»
зеркально-черна.
Звуками, голосами
набита она.
В ней все:
и уверенность правоты,
и ругань,
и вкрадчивость клеветы.
«Немецкая волна»,
Би-Би-Си...

Сцена повернулась на своей оси,
полушария повернулись.
Зрители
в бинокли уткнулись.
Такое
кто не оценит:
высокое лицо
появилось на сцене.
Сидит.
Ногу на ногу над паркетом

Кровью земля Вьетнама
прилипла к его штиблетам.
И в Белом доме
не вытерт след
от его штиблет.

Акт —
не знаю, который —
может, четвертый,
может, шестой.
Пули не властны
над бессмертной мечтой.
С гвоздикой в руке
Белояннис не встретил последней зари.
Годы минули —
кровинка гвоздики
горит.

Пытки.
Нерусское небо в глазах застыло.
Воду ледяную
на плечи,
на затылок,
на голое тело
из ведер плещут.
Тело Карбышева обледенело.

Он мог бы живым остаться
в той круговерти,
на крохи дней
променяв бессмертие.
Но тело глыбою ледяною стало...

Мужество
на нас
глядит с пьедестала.

Сцена поворачивается.
Москва, Москва!
Сегодня в ней славиться
не церквам —
проспектам,
Останкинской телебашне в дымке
рассвета...
Из репродукторов
голос поэта:
«Москва, Москва!
В каменных твоих ладонях
Вечный огонь,
бьющее столбиком пламя,
двадцати миллионам павших
вечная память!»
На Украине
белая хата.
Синькой отливает ее белизна.
У телевизора — мать солдата,
под черным платком седина.
На экране —
Кремль,
часовые,
столбиком над плитой пламя —
бьется, будит материнскую память.

Сцена поворачивается.
Дымный Урал.
Тюмень.
Вышки нефтяные —

соски́ земные.
На тысячи километров
тайга, снега.
Трубы заводские.
Енисей. Амга.
По проводам
в напряжении
сила идет от рек
в наш
во второй полувек.
Тридцать ниже нуля.
Девушка, дожидаясь трамвая,
томик стихов раскрывает.
Губами озябшими
мнет строку,
варежкой
трет щеку.

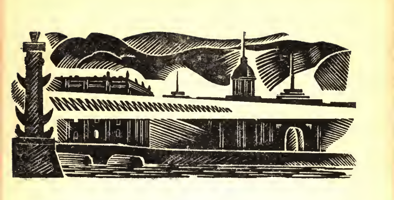
Где еще в мире
читают столько,
строят столько!
Будь это в Москве,
будь на Дальнем Востоке —
домами, кварталами
становятся блоки.

Даже и солнце
из океана,
может показаться,
подымают краном.
Ветер-бродяга
и тот не бездомен:
целует
смуглые щеки домен.

Сиянием северным —
рампа у края...
Людно на сцене.
Каждый из нас
свою жизнь играет.
И роли такой —
если задумаешься о ней —
нет на свете трудней.
Ни репетировать,
ни переигрывать ее
не дано.
Так в этом театре
заведено.

Ноябрь 1967

ПЕРЕВАЛЫ





1

Когда-то писалось.
Душа моя
неба касалась.
К бумаге слетали
в трепете
строчки, как белые лебеди,
живые, сердцам адресованные,
датами окольцованные.
Писалось?
Нет, пишется, как бывало!
За дымкою —
пройденные перевалы.

2

Семнадцатый год.
Мы не знаем, какою

тогда над Невой занималась заря,
но в календарях
навсегда дорогое
число — двадцать пятое октября.
Горжусь, что оно
у меня в анкетах
в графе не прочеркнуто
при ответах.
Уж ни перед кем
не склоняя чела,
страна становилась
моложе и краше,
суровым пером
биографии наши,
в грядущее глядя,
писать начала.

3

Курсантская молодость.
Конь, да седло,
да пулям навстречу
клинки наголо.
Судьбу свою
и в девятнадцать лет
старался я крепко держать в руках.
В согласии были партийный билет
и глупые ямочки на щеках.

Земля,
ей не в труд,
млечной пылью клубя,
наматывать
пряжу времен



на себя.
Минули и годы
гражданской войны.
В анналы истории
занесены.

Страна пятилеткою первой жила.
Железная ноша ее тяжела.
На память приходят под грузами краны,
станки и турбины, но чаще всего
скрипучие тачки, труда ветераны,
с выносливостью колеса своего.
Скрипели они деревянно и грубо,
но множили славу отчизны. На то,
что в деснах цинготных шатаются зубы,
не жаловался никто.

Те годы далеко.
Уже из легенды
нет-нет и пройдут по сердцам с киноленты.
Все было еще
где-то там, впереди.
Всего не увидишь,
гляди не гляди.
Еще Днепрогэса торжественный свет
не лился сиянием одам в ответ.

То ль время,
то ль сердце само
подсказало
ту смелость.
О, эти высокие залы,
где я научился и с Гегелем спорить
и понял, сближая с землей небеса:

политэкономия — это же море,
где встретишь и алые паруса.
Касались смелее всё
мысли персты
законов общественных
в дымке мечты.

4

Шли годы.
Мужала страна,
раскрывала
себя
и все к новым звала перевалам.
Хоть было и горечи много,
успехи
ее приглушали.
Шли новые вехи.
Уж думалось чаще,
что есть высота
лазурного неба,
что есть красота:

то синею тучкой притемнена,
степную дорогу обступит она,
то вдруг обернется пчелой на цветке,
то молнией (где-то еще вдалеке),
то милым лицом под высокой луной
мечтательной девушки рядом со мной,
то первой снежинкой с холодных небес,
чтоб вьюга за нею окутала лес,
чтоб флаг над зубцами Кремлевской стены
от вьюги сжимался, как сердце страны.

5

Простился с Москвой.
Назначенье в кармане.
Профессия скромная,
но не обманет.
Недаром бесстрашно с ней встала бок о бок
и муза моя, как талант был ни робок.

Герой Севастополь.
В нем серые плиты
самою историей
были избиты.
Как воин,
весь в шрамах
Малахов курган...
В столе у меня
три патрона, наган.
Курсантская шашка в ножнах на стене.
На что она, политработнику, мне?
Заботили книги, да лекций конспекты,
да в международных вопросах аспекты,
хотя
Чатыр-Дагом и мысом Айя
подолгу душа восхищалась моя.
К тому же,
какие ни дули б ветра,
растить сыновей
подоспела пора.
Растить и в их судьбах
угадывать что-то
нелегкой порою
отцовской заботой.
Недаром уж где-то

в приземистых залах
тень свастики
по рукавам проползала.

Во дворике,
где начиналась дорожка
от каменной лестницы наискосок,
мой мальчик пересыпал в ладошках
горячий крымский песок.
Хватало для игр и ракушек и галек,
и в легкой прохладе у старой скамьи
ступать по дорожке ему помогали
заботливо руки мои.
За малую жизнь еще не было смято
ногами его и травинки одной.
Впервые младенческой нежности пяток
касался песчинками шар земной.

То было:
уж многое вспомнишь едва,
едва, как ни слушай,
расслышишь слова
за числами в тех календарных листках
до первых сединок моих
на висках.

6

Они дерматиновыми были
по данным
неслепнущей памяти,
те чемоданы.
О детской кроватке (добро, раскладной)
не спорил, чтоб не препираться с женой.

Увязывал молча.
Теснило в груди.
Остался надолго
и Крым позади.

Дороги.
И после немало их было.
Ничто, что достойно того,
не забылось.

7

Под самым небом кручи
с Казбеком в стороне,
где лишь орлы да тучи
со мною наравне.

Стихи эти
в памяти я отыскал,
топча крутизну меж пугающих скал,
когда мне дорога себя открывала
в тумане Крестового перевала,
откуда, как с неба бросаясь, она
в цветущую Грузию устремлена.
Арагва.
Родили ее ледники
на кручах подзвездных.
Сказали: беги,
в садах утопай, в молодых зеленях,
стихами звени о полуденных днях.
Ах, реки!
Пусть малые,
те, что давали
напиться с ладоней, ступни омывали,

и те, что подвластными стали судам,
тяжелой волною скользят по бортам,
не в сонной осоке,
не между кустами —
текут под грохочущими мостами.
Еще я не все повидал, но со мной
связала их родина все до одной.
Красивы Арагва в цветущих долинах
и Терек, ревущий в глубоких теснинах,
и все же себя я на мысли ловлю:
российские реки особо люблю.
Иртыш,
когда он под небом зябнет,
когда над ним облака,
поблескивает серою рябью,
будто кольчугою Ермака.
А Волга!
Она синеока,
красавица наша
Волга.

8

Весна на исходе была.
Тем дружней
природа жила с уходящею с ней.
Полями, лугами родной стороны
ходили дожди голубого мая,
и каждый цветок в лугах травяных
тянулся, их всею душой принимая.
Коровы, закидывая рога,
вдыхали
на травах настоянный
воздух,

хотя уж давно над стогами в лугах
катились по небу июньские звезды.

Увидеть бы
тех пограничников лица...
Еще тишиною дышала
граница.
Студеные зори,
как прежде,
на запад
стекали с кустов.
Так и будет, казалось...
На гусеницах, на железных лапах
все ближе, таясь,
к нам война подползала.

Суровая память
над строчкой сутулит.
Какою была она,
первая пуля?
На ветер пошла
или в долгой войне
она и открыла
счет павшим в стране?

Шарахнула время
война мировая
вторая.
В воронках — вода неживая.

Война!
Вот уж датами время теснится.
Она и сегодня
кошмарами снится:

то будто в плену я,
то будто страна
вся черною свастикой осквернена.
Но снится,
как многим, наверно,
и это:
сияние окон, салюты.
Победа,
пусть близок рассвет,
в каждом доме в гостях,
ликует на улицах, на площадях,
солдатские имена называет
еще не остывшая фронтовая.

Война!
В ней найду ли свой след?
Не о нем
писала она
пулеметным огнем.
Его
подо Ржевом, а ране у Пскова
размяло
не танком, так конской подковой.

Машина, бывало,
дымится в кювете.
Поэт и на фронте
за музу в ответе:
все ж штатной была единицей в газете.
Все было:
шли ливни, ломились метели
в землянку,
к которой и письма летели.

9

Дороги!
Их было немало и после.
Война еще шла.
Я с заданьем был послан
В Туву, за Саяны.
Привет ей, привет!
На скулах ее
древней Азии цвет.
Хожу по Кызылу.
Толпятся араты.
Не сразу, но понял я:
звездочке рады.
Подходят потрогать.
Пусть звездочка эта
помята на шапке,
все ж красного цвета.
К тому же —
из той из великой страны,
из самого пламени
страшной войны.

Копились подарки для фронта.
Недели
в разъездах моих
незаметно летели.
Вагоны
сибирским снежком припорошены.
Подарки —
мешки облепихи мороженой.
Пускай не одна она
в красных вагонах
утряхивалась

на стольких перегонах,
мне радостно вспомнить
о ягоде этой
с целительным соком,
еще не воспетой.
Слыхал:
будто раны
от этого сока
затягивались, заживали
до срока.

10

Дороги!
Пусть трудные,
слава дорогам!
Метели мели
по саянским отрогам.
На всех перекрестках
мой след замели...

Хожу в Заполярье, у края земли.
Где к пригоршне полюса — меридианы,
ступил на гранит, что омыт океаном,
где мужество флота, да скал чернота,
да в небе Полярная стынет звезда.

Казалась
огромною рыбиной
мне
подводная лодка.
На дне — не на дне,
но мы разместились
в отсеке каком-то.

Читаю из лирики что-то негромко.
Всем ясно — не зал.
Пусть еще не знаком
ни с кем я,
матросы теснятся кружком.
В сторонке чуть —
мичман и два лейтенанта
сидят с капитаном второго ранга.
Читаю.
И муза моя
то взгрустнет,
то снова с улыбкою что-то начнет.
Не знаю, но, может, приметили все:
босая она —
по траве, по росе,
как чья-то невеста,
как чья-то жена.
Тугою струной
порвалась тишина.
Плеснулись ладони.
Никто на часы
не глянул.
А мичман, потрогав усы,
поднялся
и ленточку с якорями
содрал с бескозырки бывалой.
Она,
овеянная
ветрами, морями,
признательно мною сохранена.

11

Шли годы,
и, верится,

шли не напрасно.
Сменялись дороги,
воздушные трассы.

Мне было давно уж
не тридцать, не сорок...
В глазах
синеву оставляли озера.
Пески и сквозь обувь
ступни обжигали,
когда мы в пустыне
колодец искали.
Спешить приходилось:
в жару и в морозы
локтями, локтями —
сквозь даль паровозы.
Травинку видал.
Знал: проси не проси,
не скажет,
откуда она на шасси.

Я снова не дома.
В провалах небес
привычны меж кресел
шажки стюардесс.
Стекло в самолете задернуто шторкой.
На тусклые звезды гляди не гляди:
не где-то у крайних широт на задворках —
летим между полюсами, посреди.
Ворочаюсь в кресле.
Читать темновато.
Сосед ни словечка по-русски.
Молчим.
Коснется плечом невзначай,

виновато
посмотрит —
вот все и общение с ним.
Но мысли.
Со мной они.
Рифмой ловлю.
Неслышно
губами чуть-чуть шевелю.
Слова.
Я верчу их,
ищу постоянность.
То с этой взгляну,
то с другой стороны.
О чем бы ни думалось над океаном,
словам
все широты
должны быть видны.

Вот слово, а это — названье цветка,
звезды, что в себе отразила река.
Вот слово, а это — родная страна
далекими предками им названа.
Вот слово, а это — планета людей
им мир защищает с трибун, с площадей.

Мое Зауралье.
Пусть меридианы
его отдаляют,
и над океаном
стихи вдруг о нем:
о далекой поре,
о вьюжном,
запомнившемся
декабре.

Мы шли, а дороги не стало,
следы от пимов заметало.
Не помню уж, сколько нас было,
парней деревенских, тогда.
Хлестало в лицо и в затылок,
и шли мы — не знали куда.

Она и такое успела,
уж где-то и сдвинь с петель:
бездомная, злая, вся в белом,
металась по полю метель.
Она и в ночи не устала,
в свистящей своей белизне,
студеною струйкою талой
текла по горячей спине.

Хлестало, толкало упруго,
но мы и сквозь плотную мглу,
взяв за руки крепко друг друга,
пробились к жилому теплу.
Ах, если бы так и народы,
чтоб им не ослепнуть в пурге,
держались на всех широтах —
рука к руке!

Лечу не один.
С делегацией.
Званый.
Культурная связь —
не пустые слова.
Эй, вы!
У кого на хлебах?
Иваны,
не помнящие родства.

Заботы отчизны.
Они и мои.
Не чьи-то, а курские соловьи
прославили речки, тенистые рощи
в студеные майские ночи.

Ах, жизнь!
Ты чудесная все-таки штука!
Давай-ка, как в детстве, друг другу аукать.
Неважно, что где-то внизу подо мной
в ночи атлантической
шар земной
себя поворачивает
другой стороной.

12

На сердце все больше и больше замет.
Оно уж не раз над строкою сдавало.
Но, может, в горах обступающих лет
иду не к последнему перевалу.

Я не долгожитель, но долго живу.
Пусть шалость хмельная давно отбродила,
в глазах моих мартовскую синеву
декабрьская непогодь не замутила.

Верна мне и память.
В народной судьбе
вовек не померкнут
колосья в гербе.
Семнадцатый год.
Мы не знаем, какою
тогда над Невой занималась заря,

но в календарях
навсегда дорогое
число — двадцать пятое октября.
Нет радости выше —
пускай ты не дома,
пускай у себя за рабочим столом —
поздравить
не только друзей и знакомых,
а все человечество
с этим числом.

10 ноября 1976 — 10 мая 1977

СОДЕРЖАНИЕ

Степан Петрович Щипачев

ПОЭМЫ

Редактор Ф. И. Чуев
Художник А. П. Черенков
Художественный редактор В. А. Бондарев
Технический редактор О. Ю. Цнишевская
Корректор Э. З. Сергеева

ИБ № 1395

Сдано в набор 26.06.78. Подп. в печать 18.12.78. А08283. Формат 70×90/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 5,27. Уч.-изд. л. 5,4. (1 вкл). Тираж 50 000 экз. Заказ № 939. Цена 85 к. Изд. инд. ЛХП—62.

Издательство „Советская Россия" Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Сортавальская книжная типография Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров КАССР. Сортавала, Карельская, 42.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия»